## Спор

# Сергей Снегов

Он вошел прихрамывая — низкорослый, широкоскулый, большеротый, бородка клочьями, хитренькие, под мощными бровями глазки не то подслеповатые, не то разноцветные. Глазки мы разглядели потом, лицо тоже не поразило, но одежда нового сокамерника нас потрясла. На нем был древний извозчичий армяк, подпоясанный полуистлевшим ремнем, шапка — воронье гнездо, потрепанное бурей, — лохматого рыжего меха и рукавицы выше локтей. Мы даже обиделись за нашу внутреннюю тюрьму. Это было все же знаменитое учреждение для отобранных — начальников и руководителей — народа интеллигентного и хорошо одетого. Такое пугало могло бы отлично уместиться в какой-нибудь Таганке или на районной пересылке, раз уж понадобилось. В Москве тюремных площадей не хватало — случалось, и именитые товарищи месяцами торчали в участковых КПЗ, дожидаясь высокой чести попасть к нам.

Новеньких обычно засыпают вопросами, допытываясь, «что на воле». Этого мы не тронули. Лукьяныч, рослый парень, еще не забывший, что месяц назад он восседал в кресле первого секретаря крайкома комсомола на нас, старожилов камеры, он поглядывал с опаской, хмуро с ним поздоровался. А Максименко, в прошлом строитель, выпивоха и бабник, лениво шевельнулся на койке и пробурчал:

— Откуда? И вообще — кто? Новенький разъяснил, угодливо хохотнув:

— Крестьяне мы. По-нынешнему — единоличники... Из Казахстана. А фамилия — Панкратов.

— Единоличник? — удивился Максименко. — Разве эта порода не вовсе перевелась? Ваш Казахстан — он в Советском Союзе?

Панкратов захохотал. Он хлопал ладонями по коленям и заливался. Нас возмутил его смех. Мы сами порой смеялись, рассказывая анекдоты — хохот был реактивен, мы отвечали им на острое слово, неожиданное происшествие. Мы не веселились, а платили дань остроумию. Мы понимали, что в тюрьму засаживают не для веселья. Этот же Панкратов искренне веселился — черт знает отчего, черт знает чему. И у него был какой-то по-особому некультурный голос — именно голос, не слова, хоть и слова были не столь мужицкие, как мужиковствующие.

— Старпер, — сказал Максименко, мигнув на новенького, — Маразматик мутной воды. Из высланного кулачья. Давай, Сергей. Задуман знаменитый исторический деятель. Сейчас я возьму реванш за твою полудохлую лошадь.

Я второй месяц играл с Максименко в отгадывание исторических фигур. Он не мог мне простить, что я надул его в последней игре. Он все расшифровал: и что задуманный деятель — политическая фигура, «не женщина», «не полководец», «не писатель», и что он жил в Риме при первых Цезарях, даже что он известен как сенатор. Но вот, что этот сенатор был конем императора Калигулы, из хулиганства введенным в сенат, этого Максименко, исчерпав свои пятнадцать вопросов, так и не дознался. Теперь он мстил мне за прославленного коня.

Панкратов раздевался у отведенной ему койки. От его поживших сапог воняло портянками и дегтем. Максименко скосил на Панкратова глаза и сделал жест рукой: «Классика — сперва почешется под мышкой, потом заскребет в голове».

Панкратов вздохнул, почесал под мышками, поскреб в голове и бороде, опять вздохнул.

— А насчет еды — не прижимисто? На этапе, братва, больше святым духом... Баланда — горошинка за горошинкой гонится, никак не того...

— С едой худо, — промямлил Максименко, откидывая голову на подушку и уставя скучные глаза в неугасимую тюремную лампочку, — Суп рататуй, посередке — кость, по бокам — шерсть... А кто попросит добавки, тут же в карцер — трое суток холодного кипяточку... Давай, Сережка, давай — пятнадцать вопросов!

Панкратов стал укладываться. Он что-то шептал, может, посмеивался себе под нос, может, жаловался на тяготы. Он нас не интересовал. Он был не по плечу нашей элитной тюрьме.

— В пять часов принесли обед. Во внутренней тюрьме No 2 на Лубянке, где я сидел уже полгода, кормили по-столичному — два раза в сутки мясное. В тот день выдали по миске борща из крапивы, а на второе навалили пшенной каши с говяжьими шкварками. Мы поболтали ложками в борще и пожевали кашу. Ночные допросы и духота не развивали аппетита. На изредка выдававшиеся книги мы накидывались энергичней, чем на еду. Панкратов один умял больше, чем мы втроем. Он не ел, а объедался — жадно оглядывал миску, опрокидывал ложку в рот как рюмку — медленно, блаженно изнемогая от жратвы.

Но над кашей он вдруг замер. Клочковатая бородка, брови-кустарники и разноцветные — один темно-серый, другой салатно-зеленый — глазки согласно изобразили изумление, почти смятение.

— Братцы! — сказал он огорченно, — А ведь каша — моя!

— Твоя, — согласился Максименко, — Нам ее по ошибке выдали. Возьми и мою миску. Прости сердечно, что по незнанию проглотил две ложки. — Он строго поглядел на меня.

— Ты! «Вам не касается?»— как говорит наш корпусной надзиратель, которого ты мне вчера загадал, как историческую фигуру. Возвращай чужую кашу!

Я тоже протянул Панкратову миску. Он засмеялся.

— Вы не так меня поняли, ребятки. Пшено мое. Наше казахстанское просо — единоличное...

Мы все же не думали, что он так глуп. Даже церемонный Лукьянич вздернул брови.

— Позвольте, а как вы узнали, что ваше пшено? Мало ли в стране засевают проса? В нашем крае под него занимали сто тысяч гектаров.

Панкратов хмуро поглядел на Лукьянича.

— Насчет гектаров не скажу, а свою миленькую везде узнаю. Мое — зернышко к зернышку! — Он вздохнул и отставил миску. — В горло не лезет!

Лукьянич попробовал его урезонить:

— Ваше просо, наверное, там и осталось — в Казахстане. Будут жалкий мешок зерна возить в Москву.

— Осталось, как же! — зло сказал Панкратов, — Все подчистую подмели товарищи уполномоченные. И за меня, и за папу римского взыскали налоги от Адама и до самого светопреставления. Так и объяснили — на чужом горбу в рай собираемся...

Максименко сокрушенно покачал головой.

— Ай, какие идеологически невыдержанные уполномоченные в Казахстане! В рай верят! И ведь, не исключено, партийные?

Панкратов огрызнулся. Пшенная каша, похоже, легла у него комом не в желудке, а на сердце. Он гаркнул так зычно, что дежурный приоткрыл глазок — не дерутся ли в камере? Драки, истерические ссоры, дикие вопли были явлениями если и не ординарными, то и не такими уж необычными — надзирателям часто приходилось вмешиваться. Наша камера пока была на хорошем счету, народ в ней подобрался смирный: никого еще не били на допросах, никто не устраивал политических обструкций, не кидался на соседей, не пытался проломить дверь головой, не грозил в спорах доносами, не грыз в отчаянии свои руки. И хоть уже многие жители нашей камеры схватили положенный срок, ни один не удостоился расстрела — мы ценили свою судьбу. «У нас глубже политического насморка не болеют, — хладнокровно разъяснял Максименко новеньким. — Так, на нормальную десяточку лагерей, а чтобы вышка — ни-ни!»

Лукьянич, не терпевший шума, сухо посоветовал Панкратову:

— Вы не орите, пожалуйста! Поберегите голос на допросы, там он вам понадобится больше.

Три дня Панкратов втихомолку страдал, поедая пшенную кашу, а на четвертые сутки к нам втолкнули нового арестованного.

Его именно втолкнули. Очевидно, он сопротивлялся, может, вырывался из рук охраны и ему наддали коленом «нижнего ускорения». Он влетел в камеру, остановился, оглянулся, тяжело дыша. Он не сказал нам обязательного «здравствуйте!», и мы его тоже не приветствовали.

— Ваша койка вот эта! — вежливо сказал корпусной, вошедший с тремя стрелками. — Держите себя тихо. Для буйных у нас карцер и смирительная рубашка.

Арестованный не шевельнулся. Он молчал и ожесточенно дышал. Он был высок, очень худ и, видимо, силен костистой жилистой силой. На нас он по-прежнему не глядел. Он был поражен шоком, его измученные, глубоко запавшие глаза горели — маленькие, серебряно посверкивающие точки на землистом, чем-то знакомом лице. Странно наблюдать крепких людей, ошеломленных до того, что не могут шевельнуться — ни сесть, ни пасть, ни наклониться, ни поклониться. Они просто окостенело стоят — я уже видел раза два подобное состояние, оно не было мне внове, но все также потрясало чувство.

Но когда корпусной повернулся к двери, новенький пробудился. Он метнулся за корпусным, громко крикнул:

— Не смейте! Слышите, я не позволю! Немедленно соедините меня с товарищем Сталиным.

Корпусной по природе был из тех, что любят поболтать. Нам он читал нотации по любому поводу, а еще охотнее без повода. Временами он изъяснялся почти изысканно.

— К сожалению, у меня нет прямого провода в Кремль. И уже поздно — товарищ Сталин отдыхает.

Арестованный чуть не топал ногами.

— Есть, есть — я лучше знаю!.. Сталин у себя, это его обычное время работы.

Корпусной строго поглядел на нас — не ухмыляемся ли в кулачок — и внушительно разъяснил:

— Будет товарищ Сталин беседовать со всякой мразью! Вот вызовет следователь, все жалобы изложите ему.

Он еще решительней двинулся к двери. Арестованный схватил его за руку, потянул к себе.

— Нет, вы разберитесь, очень прошу!.. Ну хорошо, к товарищу Сталину нельзя, но к Молотову? Соедините меня с Вячеславом Михайловичем — на минутку, только на минутку! Я скажу, где я, одно это — где я!.. Чтобы знали и побеспокоились...

— Повторяю, не успокоитесь, надену смирительную рубашку!

Между корпусным и новым заключенным встали стрелки. Глухо лязгнул засов. Максименко сел ко мне на койку.

— Деятель! — шепнул он с уважением. — И будут же его лупить на допросах! Не признаешь, что за фигура? Вроде портреты его печатались.

Теперь я узнал арестованного. Это был видный работник Совнаркома. На торжественных приемах, важных совещаниях он выходил вместе с руководителями партии и государства, стоял около них. Нет, он не был крупной фигурой, крупную фигуру не впихнули бы в общую камеру, для них имелись одиночки, — он был лишь неизменно рядом с крупными фигурами. Его лицо встречалось на фотографиях среди других, более известных, оно примелькалось за много лет, казалось непременным элементом приемов и совещаний — вот он, сгорбившийся, растерянный, в расхристанной рубахе, с побезумевшими глазами — бывший «он», бывший деятель, еще вчера ответственный работник, член комитетов и комиссий, завтрашняя мишень для издевательств людей, возомнивших себя охранителями революции!..

Мне стало невыразимо тяжело. Я не знал, какие преступления совершил этот человек, совершил ли он их вообще. Я привык верить в таких людей — рабочих, испытавших царские плети и ссылки, выстоявших против свирепого напора контрреволюции... Что бы он ни совершил, этот человек, он был одним из творцов нового государства — как же оно могло замахнуться на него кулаком следователя? Нет, в самом деле, какую же чудовищную вину он несет на себе, что так с ним поступили? Его ввергли к нам, не виновным ни словом, ни мыслью против советской власти, но то были мы — сопляки, мелочишка, с такими, как мы, и ошибки если не простительны, то возможны. Нас просто слишком много — почти полторастамиллионная масса. Но он, нет, он же другой, ошибки с ним немыслимы!

Я невесело сказал Максименко:

— Ладно — «лупить»... Не все тут сволочи — разберутся!

Максименко легко раздражался.

— Разберутся! По тюремному образцу тридцать седьмого года. Сперва снесут голову, потом допытаются — чья!

Во время нашего разговора пробудился Панкратов. Он спал так крепко, что не слыхал, как в камеру ввели новенького. Панкратов с удивительной легкостью вмещал в себя по двадцати часов сна. Он спал ночью и днем, перед обедом и после обеда. На допрос его еще не вызывали, он этим пользовался вволю. И надо отдать ему справедливость — среди нас, измученных, дни в тоске слоняющихся по камере, ночи мятущихся в бредовой бессоннице, он казался словно человеком из иного мира. Он не трепетал и не терзался, ожидая грозного вызова к следователю. Еда и сон занимали его куда больше, чем обвинение. О своем деле он не говорил ничего — то ли и вправду не знал, то ли искусно скрывал свое знание.

Сейчас он зевал, сидя на койке и почесывая в бороде. Потом он поглядел на новенького и стал медленно преображаться. Пораженный, почти напуганный изменением всего его облика, я не мог оторвать от него глаз. Панкратов выпрямился, напрягся, весь подобрался, как-то по-особому хищно, помолодел. Потом он встал и тоже другой, легкой и быстрой походкой подошел к задумавшемуся новому арестанту.

— Виктор! — сказал он. — Вот так встреча, друг ситный!

Новенький дико уставился на Панкратова.

— Ты? Позволь... Как же это — я с тобой?

Панкратов закивал головой. Он теперь и говорил по-иному, без мужиковствующих интонаций и слов. У него, оказывается, был культурный голос — голос образованного человека.

— Я, конечно... А что странного, дорогой Виктор Семенович? Разве мы с тобой не сидели уже в одной камере больше года? История повторяется, дружок, как учит ваш духовный отец Гегель. Только он немного вроде ошибся — что-то повторение фарсом не отдает, каким он объявил все повторные драмы. Скорей хоть и вторичная, но еще одна трагедия.

Новенький кинулся к двери и забарабанил кулаком. Сперва раскрылся волчок, потом распахнулась фортка. Разозленный корпусной — он, похоже, и не отходил от нашей камеры — закричал злым шепотом:

— Это еще что? Обструкцию устраиваете?

— Переведите меня в другую камеру! — потребовал новенький. — Я не могу сидеть с этими людьми! Куда угодно, только отсюда!

— В санатории будете выбирать соседей, ясно! Немедленно возвращайтесь на свою койку.

— Нет, послушайте! — настаивал в страшном волнении арестованный. — Этот человек — член руководящего органа партии эсеров! Я не могу, не хочу с таким контрреволюционером!..

— Все вы здесь контрики! — ответил корпусной и захлопнул фортку.

Панкратов молчаливо смеялся и в восторге бил себя по коленям, прислушиваясь к спору у двери.

В этот вечер мы почти не разговаривали. Лукьянич лежал на своей койке не шевелясь, может, спал, вернее — задумался, он часто так задумывался на часы, без движений. Максименко пробовал вовлечь меня в военно-морскую игру на бумаге, но расставлять карандашные крестики мне было противно, я вдруг сызнова — это у меня с регулярностью повторялось каждые две-три недели — почувствовал с тяжкою остротой, что крест поставлен на мне самом, на всей моей жизни. Если таких людей, как этот Виктор Семенович, арестовывают, на что могу надеяться я? Я тоже лег, уперся глазами в стену, о чем-то бессмысленно мечтал, кому-то бессмысленно жаловался и плакал — одной душой, без слез. Напротив меня сидел Панкратов. Он посмеивался, почесывал бороду, молчаливо ликовал, готовился к чему-то важному. Я догадывался, к чему он готовился.

А по камере метались Максименко и новенький. Максименко пробегал от двери к окну и обратно по двадцати километров в день. Он ходил часами, ходил как заведенный, все убыстряя шаг, почти бежал, он выражал себя ходьбой, как иные жалобой или криком. Совнаркомовский деятель оказался таким же неутомимым ходоком. Они согласно поворачивали у окна и у двери, стремительно расходились в центре камеры и вновь поворачивали. Они ходили заложив руки за спину, подняв вверх голову, так легче думалось — с задранной в потолок головой. Я неоднократно проверял это сам. И они ни разу не столкнулись. Когда я бродил по камере, я ударялся о Максименко чуть ли не при каждом повороте, а эти не глядя безошибочно расходились, словно двигались не по доскам, а по рельсам. Так продолжалось до вечернего отбоя.

Когда замигала лампочка, приказывая спать, Максименко подошел ко мне:

— Сегодня находился досыта. Эх, Сережка, не знаешь ты лучшего тюремного удовольствия — лететь из угла в угол, пока ноги не отказали.

— Зато я знаю другое, тоже тюремное, удовольствие — мечтать, пока голова не вспухнет.

— Воли не вымечтаешь, хоть набей мозоли на извилинах. Шут с тобой, мечтай.

Он захрапел сразу, как нырнул под одеяло. Лампочка вторично мигнула и засветилась вполсилы. Я повернулся на бок и закрыл глаза. Я дышал ровно и громко, чтоб думали, будто я сплю. Новенький сидел на койке. Панкратов, осторожно ступая босыми ногами, подошел и сел рядом. До меня донесся требовательный шепот:

— Виктор, потолковать надо... Виктор угрюмо отозвался:

— Нечего нам с тобой... Все перетолковано Спор наш решен историей — и решен не в твою пользу.

— Хе-хе-хе, вон ты какой. Колючий Виктор...

— Уж какой есть.

— Правильно, какой есть. Всегда ты был ершист Помню, на сибирском этапе, в девятьсот седьмом, задрался с жандармом — я вроде еще подсоблял тебе. А в Женеве? Бог ты мой, да тебя голосистей в колонии нашей не было! Колюч, колюч!..

— К чему ты заводишь этот разговор? Лубянка не Женева. И хоть мы сегодня с тобой сидим одинаково на арестантской койке, судьба наша различна. Пути наши случайно пересеклись, но им не сойтись. Давай иди к себе, а я буду спать.

— Хе-хе-хе, «спать»! Ни тебе, ни мне сегодня не спать. Значит, не сошлись пути, а пересеклись? Возвращается ветер на круги своя — было, кажись, такое изречение. Ну а ветер революции, он ой же как непостоянен — кругами, кругами, то мчится серым волком, то белою соколицей под облака, то смерчем по головам...

— На что ты намекаешь?

— А на что мне намекать? Я по-простому, Виктор, по-крестьянскому... Да, забыл представиться — я ведь теперь мужик, так сказать, профессиональный, а не идейный. В двадцать втором году кое-кто из вождей-то наших за границу подался — ну, мне показалось противно опять по Женевам... Вот и попробовал — не в народ, а самому чтоб народом... Было, было всякое — и мозоли томили, и земля не поддавалась, ничего, справился, даже портрет мой какой-то дурак в местной газете опубликовал — хозяйственный, мол, середнячок, поболе бы таких Представляешь, сколько ему, дураку, знающие люди потом хвоста крутили! Эх-хе-хе, дела, дела. Ну а в колхозы ваши, с партячейками и комсомолами, не пошел, тут уж все. Тоже простили, не выслали, а впрочем, куда дальше Казахстана высылать? Кстати, завтра у нас будет пшенная каша, пальчики оближешь. А почему? Моя! Из моего проса варена. И ведь надо же — в тюрьме меня моим же хлебом кормят. Новенький устало попросил:

— Уйди, Михаил. Завтра трудное объяснение. Надо подготовиться.

— Пустое — подготавливаться! У них все подготовлено, ничем ты не того... Постой, сколько же мы с тобой не виделись? В тринадцатом в Женеве, кажись, в последний раз схватывались, или, вру, в четырнадцатом? Четверть века почти, нет, как хочешь, а накопилось за этот срок всякого — надо, надо разобраться.

Я услышал злой смешок Виктора Семеновича.

— Что-то память твоя ослабела, Михаил. Виделись мы с тобой и позже.

— Позже? На процессе эсеров, что ли? Да ведь не было тебя в зале. Нарочно присматривался, кто из знакомых. Не было тебя.

— А зачем мне таскаться по судам? Встречались мы с тобой не в залах, а в чистом поле — ты удирал, я нагонял. Забыл, как видно!

— А ты не ошибаешься, Виктор?

— Что мне ошибаться! Скажи, мил человек, не ты ли появился в Самаре в восемнадцатом, когда Муравьев поднял восстание против советской власти? Вижу, вижу, припоминаешь — и как глотку драли в разных Комучах, и как Муравьева вашего — тю-тю!..

— Вам, положим, тоже досталось — чуть не рухнула ваша советская власть от нашего удара на Волге!

— Не рухнула, однако. Так вот, припомни башкирскую степь и сельцо, из которого твой отряд выбили на рассвете.

— Господи, неужто ты это был, Виктор?

— Кто же еще? Я с ночи узнал, что за деятель командиром в вашем отряде. Ну, думаю, подведем итог женевским дискуссиям. Только ты лихо удрал. Одно это ты и мог всегда — вовремя удирать... Я метров на пятьдесят не догнал, по имени звал, две пули выпустил вдогонку — нет, умчался... Даже не обернулся.

— Скажешь тоже — обернуться! Смертушка моя гналась за плечами. И голоса твоего не слыхал, пули, точно, просвистели, одна за другой... Помню, спиной трепетал вот-вот третья вопьется. Ты, выходит, тогда меня помиловал?

Не помиловал бы — патроны кончились, а шашкой не достал Но узнал тебя сразу, хоть ты и обрядился во все французское или японское.

— Чешское. Чудесно, кстати, шьют чехи — добротно, ладно. Значит, это был ты! Ну хорошо, что не обернулся! Лицо твое увидать в ту минуту — непременно бы с коня слететь... Между прочим, с того утреннего сражения я забросил политическую деятельность. Письмо послал Владимиру Ильичу, что гражданская резня мне не по душе.

— Письмо, если не ошибаюсь, ты написал не в восемнадцатом, а в двадцать втором.

— Не ошибаешься, не ошибаешься! Память у тебя, Виктор, энциклопедическая. Только напрасно ты меня ловишь на противоречиях. Письмо в двадцать втором, а отход от боевой работы — с восемнадцатого. Именно в ту страшную скачку по башкирской степи я и заклял себя — хватит в генералы лезть, а садись на землю и показывай, чего стоят твои трудовые руки. А потом уже не от страха, а совестью признал — вот она, моя судьбина: из праха восстал, прахом, обрядив его во хлеб, питался, во прах возвратишься. Две десятинки временные, на прокорм, два метра постоянных — для вечного упокоения...

— Сейчас тоже такой совестью живешь?

— Хе-хе-хе! Глаз твой, Виктор, — копье! Пронзаешь насквозь. Сами же не даете стать простым тружеником. В тюрьму вот приволокли — зачем? Я же ни ухом, ни рылом — нет, оторвали от плуга. Какой ты, мол, крестьянин-единоличник, ты политический деятель Хе-хе! Непременно ведь так скажут ваши следователи. Силком, можно сказать, обряжают в фигуру. Вот как оно поворачивается, Виктор ты мой дорогой.

Они помолчали. Я осторожно приоткрыл глаза. Оба сидели на кровати Виктора Семеновича, на разных ее концах, словно чтобы не касаться плечами, смутно глядя вперед себя. Мысль одного, прихотливая и витиеватая, нападала и отскакивала, кусала и язвила. Мысль другого, быстрая и прямая, падала лезвием на шею, ее было не отразить, от нее можно было спасаться лишь отскакивая. Мне показалось даже, что и лица у них отвечают спору — один кривился, изгибал губы и брови, подхохатывал. подмигивал и подмаргивал, другой был строг и хмур, нетороплив и решителен. Вероятно, мне просто хотелось, чтоб это было так, в камере тусклый свет боролся, не перебивая его, с мраком, я примысливал лица, не различая их отчетливо.

Опять заговорил Панкратов:

— Отвлеклись мы с тобою, Виктор, приятными воспоминаниями — Сибирь, Женева, башкирские степи... Ну а ежели ближе к текущему моменту, как у вас на собраниях выражаются, так где ты в нашей сегодняшней встрече узрел случайность? Газетки ваши посмотреть — ор о врагах народа, яма бездонная разверзлась под ногами: не то что отдельных вождей с откоса, массами рушатся в пропасть — аресты, аресты, аресты, процесс за процессом. Вот что ты до сей поры в совнаркоме своем благополучно заседал, это точно случайность. А здесь тебе — естественно по сегодняшнему дню. Железная закономерность, Виктор!

— Говори, что хочешь. Тюрьма — единственное место, где можешь открыто высказывать свои контрреволюционные взгляды.

— Ну, насчет открыто — и здесь не очень... Закричи, к примеру, «Долой советскую власть! К стенке членов Политбюро!»— думаешь, усмехнутся и пройдут мимо? А карцера и одиночки на что? Взамен десятки вышака схлопочешь — вот она какая, тюремная свобода! Я, впрочем, к контрреволюции не призываю, я теперь мужик-единоличник, не политическая фигура. Да и зачем мне призывать ее? Она сама совершается — непреодолимый исторический процесс...

— Ты думаешь, что нов в своей гнусной клевете на нас? Еще недавно троцкисты истошно визжали насчет термидора. Не из их ли гнилого арсенала ты раздобыл свое отравленное оружие?

А чего мне брать у троцкистов? Они по себе, я по себе. Своя головешечка на плечах, Виктор.

Так, значит, нет контрреволюции? А как же понимать тогда это: ты, подпольщик-революционер, видный советский деятель, сидишь рядом с эсером-единоличником на тюремной койке, и оба мы с тобой вызываемся теперь на допрос одинаково: «Кто на „П“, а разница если и есть, так лишь в том, что тебя собираются смертно бить, а меня, возможно, оформят на десяточку без рукоприкладства.

— Хорошо, я отвечу тебе. Личная моя судьба или твоя — дело маленькое, тут властвуют многие неконтролируемые случайности. Давай отвлечемся от наших личных судеб и посмотрим шире, вникнем в существо нашей жизни, которая определяется уже не случайностями, а необходимостью, железными историческими законами. В чем ты открыл контрреволюцию? Не в том ли, что рабочий класс освобожден от гнета хозяев, что на шее у крестьянина не сидит помещик? Или она в росте нашей промышленности, в гигантском размахе строительства, в тысячах первоклассных заводов, работающих без капиталистов, в сотнях городов, появившихся на картах страны, в новых дорогах, школах, больницах? Не в том ли она, что мы ликвидировали кулачество и создали совхозы и колхозы? Или, может, она в том, что Россия, неграмотная, полудикая, становится страной высокой культуры, что мы энергично ликвидируем это вековое проклятие — непроходимую грань между интеллигенцией и народом, что создали и умножаем свою новую, народную, единственную в мире интеллигенцию? Или, наконец, ты разглядел контрреволюцию в раскрепощении наших женщин, в том, что мы пробуждаем в народе творческие силы? Что ж ты молчишь, отвечай!

— Хе-хе-хе, Виктор, мастер, мастер! Вот уж верно, дар божий — Златоуст! Видно, служебная твоя высота ораторские таланты не погубила — загнул, нет, загнул! Представляю, как же ты гремел на митингах, как поднимал доверчивый люд, тащил речью крепче, чем цепью!

— Если мои речи помогали гнать таких, как ты, поганой метлой, значит, они сыграли свою благородную роль — больше мне ничего не надо!

— И это правильно, роль они сыграли, речи твои и товарищей. Вспоминаю: вы и мы! Кучка ленинских сектантов и огромная партия эсеров, чуть ли не весь народ, вот так начинали мы борьбу. Кто бы мог подумать тогда, что так умело вы овладеете умами, так жгуче воспламените души. Семнадцатый год — каждый день мы теряем сотни тысяч, каждый день вы приобретаете... Злые чары, опутавшие Россию, — так мне это, растерянному, тогда представлялось. И результат — нет нас больше в стране, одни вы безраздельные...

— Стало быть, признаешь историческое поражение свое и своей партии?

— Не торопись, Виктор, не торопись. Дело непростое, ох непростое... Читал я недавно девятый ленинский сборник, я ведь часто Владимира Ильича почитываю, и вижу: точно, торжествуют законы диалектики, над вами торжествуют, против вас, Виктор! Не в том сейчас дело, что вы в октябре победили, а в том, куда вы ныне катитесь.

— Хватит! В одном ты прав: даже в тюрьме нельзя разрешать антисоветской пропаганды.

— Будешь доносить на меня?

— А что на тебя доносить? Был ты враг советской власти, злобный, ограниченный, таким и остался.

— Упрощаешь, Виктор, всегда была в тебе эта черточка — упрощенчество... Что — враг, и что — друг? Одно слово, другое слово — разве двумя словами душу выскажешь? Сложные проблемы надо рассматривать со всех сторон и на всю глубину — именно этого требовал от вас Владимир Ильич и именно это вы чаще всего забываете.

— Поражаюсь: Панкратов в ученики к Владимиру Ильичу записывается! Не ты ли злобно его поносил?

— Было, все было. Шла борьба — а на войне по-военному. С той поры четверть века — много, много передумано... Так будешь слушать? Пойми, чудак, я не злопыхательствовать надумал, ведь кровью в собственной душе... Или, по-твоему, я не мучаюсь? Так уж потерял на единоличном своем участке интеллект, что страдания мысли вовсе стали чужды? Повторяю: не злоязвления ради, а исповедь моя!

— Врагу исповедуешься?

— А почему исповедоваться лишь друзьям? Друзья с охотой простят прегрешения, честный враг поблажки не даст. Мне истины нужно, а не утешения.

— Это поиски истины привели тебя в тюрьму?

— А что тебя привело в нее? Не надо, Виктор! Разговаривай так вон с тем комсомольским бюрократом, который дальше своего маленького начальственного стола ничего не видит, — он ткнул пальцем на Лукьянича, или с длинноволосым соплячком, что на все упирает глуповато-удивленные глаза (я зажмурился, но знал, что палец уставлен на меня), а со мной — негоже... Представлять меня дурачком — себя не уважать. Нелегко, нелегко вам далась победа над нами... — Ладно, говори. Ночь долгая...

Они опять помолчали. Я приоткрыл глаза — они сидели все в той же позе. Я знал, что им не до меня, но по-прежнему боялся пошевелиться. Ко мне донесся глуховатый, напряженный голос Панкратова:

— Тебе не понравилось, что поминаю Владимира Ильича. А что поделаешь — должен танцевать от этой печки. Все наши маленькие личные судьбы и большие мировые дороги истекают из этого человека, как из некоего фокуса нашей эпохи.

— Не запоздало ли твое признание, Михаил? Роль Владимира Ильича разъяснена и без тебя.

— А со мною — крепче... Я ведь враг ему был, не забывай этого. Признание врага не начинает, а завершает славу. Так вот, дело было перед войной, а той же Женеве. Помню, на каком-то собрании наши и ваши спорили об обществе будущего — социализме. Ну, в самых общих чертах, конечно, так сказать, одни основные законы. А я, помню, выступил так ехидненько.,.

— Ехидничать ты умеешь, верно! И то собрание помню...

— Вот-вот, о нашей тогдашней стычке... Итак, я полез с возражениями: «Вот вы, большевики, утверждаете насчет диктатуры пролетариата, что рабочий класс берет власть над другими классами и слоями. Но ведь для осуществления диктатуры понадобится свой аппаратик принуждения — политическая полиция, тюрьмы, ссылки и прочее знакомое. А поскольку у вас государство не классовой гармонии, а классовой вражды, то, стало, и аппаратик этот будет огромный и мощный — короче, самодовлеющая организация, если по философии... Так не боитесь ли вы, дорогие большевики, что созданный вами новенький механизм принуждения разрастется и понемножку подчинит себе всю общественную жизнь? Не станет ли будущее ваше государство тем гоббсовским Левиафаном, что поглощает всех в себе? Не государство для человека, как форма отправления его социальных потребностей, а человек для государства — порция жратвы ненасытному его горлу!»

— Я сам тогда отвечал тебе.

— Правильно, ты! Избил меня, как мальчишку! Мол, вы, Панкратов, обыватель по складу ума и горизонту, весь мир превращаете в обывательский клоповничек. И доказал, что будущее государство ваше обопрется на массу народа, а не на отобранных единичек. Каждый, мол, рабочий контролирует через свои местные организации все общественное управление — нет, стало быть, почвы для гипертрофирования аппарата насилия. Но знаешь, дорогой ты мой враг Виктор, все эти высокие соображения меньше меня щипанули за сердце, чем то, что ты обругал меня обывателем и мещанином.

— Где же здесь брань? Точная политическая характеристика партии эсеров и тебя, видного ее члена. Вы да меньшевики — обыватели в революции.

— Ладно, история разберется, кто мы такие, ты тут не судья. Я говорю сейчас лично о тебе. Много, много раз за эти четверть века возвращался к тому женевскому спору. И на иное взглянул по-иному. Не на тебя, а на ваших вождей. Да, Владимир Ильич, Владимир Ильич! Вот она, коренная наша ошибка, глубочайшая моя ошибка, Владимир Ильич! Да ведь мы, эсеры, только и делали, что искали героя. Где-то там, в бездне низин, изнемогают безликие массы, жаждущие руководителя и вождя. Это же была проблема из проблем, суть возвещенной нами революции — открыть героя, высочайшую критическую личность, мессию бунта, и хлынуть за ним непреодолимым народным потоком. Мы же заранее объявляли культ вождя — сверхчеловека. Как же случилось, что герой этот, гений и вождь, появился не у нас, молившихся о его приходе, а у вас, марксистов, чуть ли не отрицавших начисто личность в истории, мыслящих массами, а не единицами человеческими? Как же мы проглядели, не оценили своевременно такое гигантское явление, как Ленин. Ведь нам, раньше всего нам нужно было провидеть подобных людей? И как же я, старый ныне дурак, а тогда молодой фанфарон, не уразумел, что вот рядом со мною, на одной со мной земле, шагает невысокого роста исполин человечества и этот исполин презрительно на таких, как я, морщится: «Обыватели вы, ординарнейшие представители псевдореволюционного мещанства». Вы научно меня классифицировали, а я обижался — ругаются... Умница ты, Виктор, сразу провозгласил, не брань, мол, а политическая характеристика, да ведь я тогда не понимал, что это характеристика, а не ругань, никак не мог понять!

— Сколько же тебе лет понадобилось, чтобы уразуметь такие простые вещи?

— Сколько лет, сколько лет! Жизнь старую бросил, начал заново жить — вот сколько лет! Ой, непросто, непросто было оно, простое мое крестьянское бытие! Сколько написано о томлении влюбленных душ, муках голода, ужасе смерти, проклятии непосильного труда. А есть еще и трагедия мысли — змея, терзающая мозг, парализующая руки.

— Иначе говоря, ты разоружился?

— Словечко-то какое — разоружился!.. Не разоружился, а распался, изошел дымом. Трагедия, тебе говорю, не демобилизация — сдай наган, скинь гимнастерку... Я не марксист, во все ваши выдуманные социальные законы не верю, а в человека верю. Но умер он, ваш Владимир Ильич, не стало исполина-сверхчеловека, какого мы для себя искали, но не нашли — кончилась героическая эпоха... Читаю его сейчас том за томом — господи, мысли же, глубина!.. И вроде уже и не обидно за себя. Кто был я? Крохотулька человеческая, из серенькой массы...

— Не приписывай нам своего эсеровского деления людей на сверхчеловеков и тупую массу. Большевикам оно чуждо.

— Поэтому нового-то своего обряжаете чуть ли не в божество: и гений человечества, и отец родной, и спасибо за счастливую жизнь, и вождь народов всего мира... Нет, брат Виктор, если у кого и есть сейчас эсеровское понимание личности, так у вас. Взяли, взяли вы наш старый культ вождя, да в такую руководительскую религию раздули — даже мы руками разводим. А почему? Вот тут и подходит суть. Дело-то хотите продолжать героическое. Без героя, вождя по-вашему, вроде и неудобно, не пойдет дело-то! Ну и придумали замену. Не взяли гением, возьмем должностью. Не одолел умом, сокрушим кулаком. Зачем переубеждать? Можно отлупить! Посадим за решетку, отправим в ссылку — дальше поедешь, тише будешь. Короче, не спорить с противником, а заткнуть противнику рот — тоже форма победы. И условия наипрекраснейшие; великолепный аппарат, это самое ваше ГПУ, придуманное Владимиром Ильичем для классового врага, беляков, ну и таких, как я, раз уж вы меня в классовые враги заприходовали. Ну-с, дорогой мой Виктор, коли пошла такая пьянка, так режь последний огурец — поворачиваем это святое учреждение от классового врага на любого несогласного — дешево и сердито. Подписал бумажку — готово, в любом споре твоя наверху. А чтоб чего не вышло по части партийного и рабочего контроля, отделим аппаратик от масс, сделаем бесконтрольным — пустим, философски изъясняясь, в самодовлеющее существование. И пошел аппаратик самодовлействовать — косит направо и налево. И пошла, Виктор ты мой, дикая эпидемия массового производства врагов. И врагами объявлены все хоть немного самостоятельные умы. Левиафан жрет — все оттенки стерты в одном грозном шаблоне «враг народа», а в результате эсер и большевик, непримиримые идейные противники, попадают в одну тюремную камеру и мирно беседуют на одной койке, ибо они теперь нечто одинаковое: «Кто на „П“?» И получат, вероятно, одну и ту же десятку, если тебя не расстреляют, ты ведь ходил в близких, значит, тебя и судить строже... Нет, дружок, нет, не пересеклись случайно наши жизненные дороги, а неизбежно сошлись в одну, ибо гипертрофированное ваше государство пожирает в ярости собственные свои внутренности. Самоистребление — вот ваш сегодняшний путь, итог всех ваших побед! Виктор Семенович холодно сказал:

— Что ты еще добавишь к своей подлой клевете? Панкратов поднялся:

— Клевета, говоришь? В чем же клевета? В том, что чуть ли не весь народ объявили «врагом народа»? Или сам ты не пример самоистребления? Может, ты перестал быть большевиком и превратился в цепного пса Гитлеров и Чемберленов? Ты случайно не продавал Сибири японцам, а Украины немцам? Не слыхал, почем на рынке идет Кавказ и сколько марок платят за Крым?

У Виктора Семеновича было искажено лицо. Он держал руку на груди, вероятно, у него схватило сердце. Но говорил он по-прежнему спокойно — только большая ненависть дает силы быть таким спокойным:

— Ну что же, кажется, ты полностью высказался — теперь моя очередь. Садись, садись, нечего маячить перед глазами! Так вот — находимся мы с тобой, точно, в одной камере, от этого никуда не денешься.

— Хотелось бы деться — охрана не пустит!

— И это верно — охраняют нас бдительно. Но почему? Как случилось, что оба мы ввергнуты в тюрьму — я правительством, за которое сражался, ты — правительством, против которого боролся. Я — друзьями, ты — врагами...

— Что до меня, то более или менее ясно.

— Спасибо, что хоть о себе признаешь ясность. Значит, все дело во мне? Давай и со мной разберемся. И тут я тебе скажу такое, что обрадуешься, хоть и преждевременно. Я не знаю, почему меня арестовали. Больше того, я не понимаю, почему арестовывают таких, как я, почему все это приняло массовый характер, — хочу понять, бьюсь над этой мыслью, догадываюсь, но полностью, нет, еще не знаю!

— А чего проще? Самоистребление!

— Слыхал: Левиафан пожирает свои внутренности. Неумный, ограниченный ты человек! Разве это объяснение? Я спрошу тебя: почему дошло до самоистребления? Где причина такого чудовищного конца, о котором ты каркаешь? Ничего на это ты не ответишь, ибо не может быть ответа на то, чего и в помине не существует. В тебе просто ожили старые твои чаяния. Все эти годы ты об одном мечтал — чтобы мы рухнули.

— Но ты не отрицаешь, сам-то не отрицаешь же — странное и непонятное творится? Так ведь?

— Да. Так. Странное и непонятное. Пока еще странное, пока еще непонятное, завтра, может быть, все объяснится.

— Короче, самоистребление отрицаешь?

— А ты думал, признаю? Наивен ты, однако! Скажу тебе по-иному. В стране происходит что-то болезненное, какая-то хворь охватила могучий, растущий организм нашего молодого общества. Я еще не уверен, не ваша ли это работа, многочисленных врагов наших внутри и за границей? Зато я полностью уверен в другом — нет, не сломит нас временная хворь, перемучимся, воспрянем — будем еще здоровее прошлого.

— Хе-хе, и ты, это самое, — переболеешь и воспрянешь?..

— Стоит ли говорить обо мне? Завтра меня вызовут, узнаю, в чем меня обвиняют, кто меня оклеветал. Надеюсь, разберутся.

— Разберутся, после того как не разобрались с сотнями твоих товарищей, таких же большевиков? Ты, кажется, искренне веришь в такую глупость?

— Да, верю! Я верю в аппарат НКВД, я сам создавал его вместе с другими коммунистами, создавал для беспощадного истребления контрреволюции. Я допускаю, что отдельные ошибки... Но в целом, говорю тебе, в целом он идейный и крепкий!

— Хе-хе-хе, идейность — эсера в одну камеру с большевиком. «Все вы здесь контрики!»— ответ корпусного...

— Михаил, оставим этот спор — он плохо кончится... Панкратов снова встал. Он махал в воздухе кулаком и кричал исступленным, злым шепотом:

— Плохо, плохо — на хорошее не надеюсь... Но знаешь, для кого оно плохо кончится? Для вас, для ваших нынешних мудрых и великих, гениальных и родных — в первую голову для них, да, да! Близятся, близятся страшные годы. Все разумное, все талантливое уничтожается — лучшие головы летят по ветру. Где ваши испытанные вожди и руководители? Где ваши прославленные военачальники? Куда вы подевали знаменитых инженеров, хозяйственников и агрономов? Народ истекает кровью, вот ваша работа. А история не дремлет — скоро, скоро на обессиленную вами Россию грянет Гитлер с Чемберленами и Даладье. Что будет противопоставить нашествию врага? Какие силы схватятся с ним? И тогда наступит последний акт трагедии — гибель великих и мудрых, полный распад вашего государства, смерть и кости кругом, смерть и кости...

Он вдруг резко оборвал речь, повернулся и пошел к койке, упал на нее. Несколько времени я слышал лишь тишину — наполненную звоном крови, нестерпимо напряженную. Потом зазвучал задыхающийся, горячий голос Виктора Семеновича:

— Слушай ты, пророк всеобщей гибели! Ты слишком уж большие выводы произвел из того мелкого, в сущности, факта, что оба мы, идейные противники, попали в одну камеру. Нет, тысячу раз нет, дороги наши не сошлись и судьбы не одинаковы! Возможно, очень возможно — и я, и ты погибнем в тюрьме. Ну и что из того? Четверть века назад я тебя определил как мещанина. Ты был обывателем, обывателем остался. Из собственной неудачи ты заключаешь гибель народа. Нет, брат, нет — народ в миллионы раз шире нас с тобой. Враг ринется — он встретит железную армию, новых, еще талантливей, военачальников, умных инженеров, мужественных коммунистов. Слышишь ты, не всю жизнь мы унесем с собой в могилу, лишь крохотную ее частицу. Можешь ты это понять? Верю, слышишь, верю!

Я лежал не шевелясь. Я боялся, что они услышат, с каким тяжким гулом бьется мое сердце.

Я не знаю, сколько было времени, вероятно, около четырех, небо в щели над щитком у окна еще чернело, когда загремели засовы. В камеру вошло человек пять — стрелки, корпусной с бумагой в руке. Мы вскочили с коек и встали возле них, как требовали.тюремные правила.

— Кто на «П»? — спросил корпусной.

— Панкратов, — первым сказал эсер.

— Нет, — сказал корпусной, сверяясь с бумагой. — Кто еще?

— Прокофьев, — проговорил новый арестант.

— Скажите инициалы полностью.

— Виктор Семенович.

— Следуйте за мной. Вещей не брать. Корпусной вышел первый, за ним Виктор Семенович, стрелки замыкали шествие.

— На допрос, — хмуро сказал Максименко, укладываясь на койку. — Допрос на рассвете— штука!.. Давайте спать, ребятки, пока нас не тревожат.

Он с Лукьяничем скоро захрапели. Панкратов тяжело ворочался на своей койке. Я тоже не мог заснуть. Где-то неподалеку, в комнате, выходящей окнами на московскую площадь, сейчас допрашивают старого большевика. Чего добиваются от него? Чего вообще добиваются? Где логика в том кровавом и мерзком действии, что разыгрывается в стране? Политика это или патология? Может, чтобы понять дух нашей эпохи, одних социальных законов, которые я с таким усердием штудировал, недостаточно и нужно привлечь врачей-психиатров? Кто в этом во всем виноват? И если виновные имеются, то нет ли среди них и меня? Я ведь тоже, по молодости, по любви к коммунизму, орал всюду: «Ура мудрому и родному!» Разве не смешал я великую идею с отдельным человеком, разве не обожествил идею в человеке, не поставил человека выше идеи? А он — человек этот — был недостоин идеи, которую мы слили с его именем — вот она, трагедия нашего времени! Там сейчас допрашивают Прокофьева. Я тоже виноват, что его"допрашивают, — виноват, что его арестовали, вино¬ват, что от него вымогают бессмысленные, лишь подлин¬ным врагам, быть может, нужные поклепы на себя! Чем же мне искупить свою вину, чем?

Я также думал о том, что мне нету выхода. И мне, и Прокофьеву, и еще многим тысячам закрыты жизненные дороги.

И еще я думал о том, что, кажется, нашел объяснение мучившему меня удивительному явлению. Я досиживал шестой месяц на Лубянке, в самой грозной, в самой элитной тюрьме. Она, таково было ее назначение, таково, было о ней всеобщее мнение, предназначалась лишь для особо крупных, особо опасных государственных преступников, пребывание которых на воле подрывало сами устои спокойного государственного существования. И меня неделю за неделей, вот уже полгода допрашивал важный следователь в военной форме, с двумя ромбами в петлицах гимнастерки — генерал, по старому счету... И то, что он генерал, и то, что он так часто вызывает меня на допросы и так настойчиво допытывается от меня признаний в великих преступлениях, уже одно — свидетельство того, что я воистину безмерно опасен для основ государственного строя. А он допытывается, верно ли, что я говорил об одном члене Политбюро, будто его лицо, после того как он сбрил бородку, стало одутловатым и некрасивым и мне теперь оно не нравится; и не высказывал ли я такого же клеветнического мнения о других членах правительства? И не таю ли я в своей голове еще более оскорбительных мыслей о Нем, о великом вожде нашей страны? А когда я отчаянно защищался от неправедных обвинений и твердил, что не понимаю, почему в такой важной тюрьме занимаются такими пустяками — как, кто, о чем говорил, — мой следователь в генеральской форме внушительно разъяснял, что ныне не существует политических пустяков, ибо страна достигла такого уровня развития и благоденствия, в ней так неоспоримо победил социализм, самый справедливый государственный строй, что только у наших заядлых врагов могут сохраняться нехорошие мысли. И потому каждое оскорбительное слово о нашем строе, тем более — о наших вождях, доказывает неистребленную внутреннюю враждебность и заслуживает самой суровой кары. Враги, чувствуя свою кончину, свирепеют, и усмирение их злобы, какой бы она внешне ни казалась крохотной, должно быть решительным и безжалостным.

— Наше общество стало бесклассовым, — сказал я однажды. — У нас уже нет классовых врагов и классовая злоба усмирена. Против кого вы боретесь?

— Правильно, бесклассовое, — согласился он. — Все одинаковы перед законом. Раньше красноармеец украл булку — ему порицание, нэпман или кулак украл булку — им два месяца заключения, потому что они — разных классов. Одни классовые враги, другие — классовые друзья. А сейчас все одинаковые: кто ни укради, каждому — три года. Ибо вредить бесклассовому обществу в тысячу раз преступней, чем прежнему, где царствовал антагонизм.

Такие рассуждения меня не убеждали. Я возмущался и за себя, и за знаменитую тюрьму, где расследуют не важные преступления, а пустяки. И десятки арестованных, появлявшихся в нашей камере и вскоре исчезавших из нее, убеждали, что здесь, как на дурном театре, совершается какой-то бездарный фарс. Кроме одного проходимца, признававшегося, что он пытался шпионить в пользу любой державы, которая согласилась бы его услуги оплатить, но попавшегося на первой же попытке шпионажа, ни один не имел за собой настоящей — в моем понимании — вины. Все происходящее в нашей камере казалось мне несерьезным — во всяком случае, не отвечающим тому назначению, которым нам неизвестно почему и неизвестно зачем грозили следователи. Чудовищность происходящего была в безмерном, бессмысленном раздувании ничтожной мухи подозрений либо обмолвок в чудовищного слона государственных преступлений.

И только сегодня, только в споре двух старых противников, меня опалил жар подлинной, а не выдуманной трагедии. Вот они, два классовых противника, сидели на одной койке — нет классов в бесклассовом обществе, оба уравнены одной виной, противоестественно соединившей реальность и выдумку, действие и клевету. Я не мог этого понять, не мог этого принять, моя душа разрывалась от скорби.

Снова загремели засовы и в камере появился корпусной со стрелками. Двое стрелков вели под руки Прокофьева — бледного, в разорванной одежде. Мы стояли в молчании около своих коек. Стрелки посадили Прокофьева на матрац, он обессилено завалился головой на подушку. Корпусной отдал короткое приказание, и охрана ушла вместе с ним. Засовы зарычали и завизжали. Мы в оцепенении продолжали стоять у коек.

Я перевел глаза с тяжело дышащего Прокофьева на Панкратова. И тут я увидел, как снова переменился Панкратов. Перед нами стоял не мужиковствующий, играющий— в дурачка крепыш, не разозленный яростный спорщик, каким я узнал его этой ночью, а старик с остекленевшими глазами, поседевшей бородой. Он шел к Прокофьеву как слепой, ощупывающий воздух.

Он наклонился над койкой Прокофьева, повернул к себе бледное, в кровоподтеках лицо. Прокофьев не открывал глаз, дышал с хрипом. Панкратов поднял его руку, отпустил ее — рука упала как неживая.

— Крепкий, крепкий аппарат! — не то натужно прохрипел, не то прокашлял Панкратов. Он вдруг с ненавистью посмотрел на нас и снова обернулся к Прокофьеву: — Ой, Виктор, крепкий!

Я повалился на матрац, в исступлении кусал подушку, трясясь всем телом.